

Д.И. Кленовский

Оккультные мотивы в русской поэзии нашего века

”Грани”

1953, № 20, Франкфурт-на-Майне

*Ich bin gewiss, wie Sie mich hier sehen,
schon tausend mal dagewesen und hoffe
noch tausendmal wiederzukommen.
Goethe, aus dem Gespr?ch mit Falk, 1813
(Bidermann: „Goethes Gespr?che“)*

Начало нынешнего века совпало на нашей родине с интенсивными религиозно-философскими исканиями. Многие из тех, кому оказалось чуждо материалистическое мирозерцание, были в то же время неудовлетворены и церковным христианством. Часть из них обратилась к так называемым оккультным учениям — теософии и антропософии, которые примерно в это же время проникли с Запада в Россию. Первое из них оттолкнуло, однако, вскоре многих своим нехристианским содержанием. Более глубокий отклик встретила антропософия (выросшая из теософии, но затем с нею порвавшая), которая с догматами древнейших религий человечества соединила неотделимые от русского сердца истины христианства. Мимо этих оккультных учений не прошли, естественно, и русские поэты, и то или иное их отражение мы находим в творчестве многих лучших представителей русской поэзии нашего века: Гумилева, Ходасевича, Максимилиана Волошина, Андрея Белого, Федора Сологуба, Вяч. Иванова, Брюсова и др.

Одной из оккультных тем, прозвучавших в русской поэзии нашего века, была тема перевоплощения (реинкарнации), тема повторности человеческих жизней на земле. Это вполне понятно. Ничто так не волнует человеческую душу, тем более душу поэта, как тайна смерти. И как раз на этот вопрос оккультные учения дают и особенно волнующий ответ.

Тут необходимо коротко этот ответ охарактеризовать.

Согласно оккультным учениям, человек живет на земле не один только раз и не является на ней лишь случайным и кратковременным гостем. Человеческое бессмертное «я» — перевоплощается и участвует своими повторными земными жизнями во всей поступательной духовной эволюции своей планеты, совершая вместе с тем и свое собственное духовное восхождение. После физической смерти человека (учит оккультизм) его «я», проделав сложный комплекс внутренней самооценки и самопознания, а также общения с потусторонними духовными силами, возвращается через некоторый промежуток времени на землю и живет снова в другом человеческом теле.

С перевоплощением тесно связан так называемый закон кармы. По этому закону, в каждом человеческом «я» между смертью и новым рождением развивается настойчивое желание загладить, искупить в своей следующей жизни на земле все те ошибки и преступления, какие оно совершило в предыдущей. Не всегда это удается, ибо воплотившись, человеческое «я» встречает новые препятствия и соблазны, обременено наследственностью и т. п. Но всё же это стремление предопределяет в известной степени каждую последующую жизнь человека, его поступки, его поведение, словом, всё то, что составляет его судьбу. В этом смысле — каждый поистине кузнец своего счастья (или несчастья), и, если принять кармический закон, в судьбе человека гораздо больше закономерного, неизбежного и гораздо меньше «случайного», чем это может показаться с первого взгляда («Я не сам ли выбрал час рождения, век и царство, область и народ» — М. Волошин).

В мою задачу отнюдь не входит подробно изложить, а тем более (я это подчеркиваю) защитить оккультное мирозерцание. Истинно оно или ложно — судить здесь не буду, да в данном случае оно и не существенно. Важно то, было ли это мирозерцание воспринято русскими поэтами нашего века и какое оно нашло отражение в их творчестве.

Не всегда, конечно, те поэты, о которых речь впереди, приходили к оккультным темам в своих стихах через теософию или антропософию. Темы эти звучат во многих древних религиях человечества, в средневековой мистике и т. д. и могут быть почерпнуты из самых разнообразных источников. Однако, в кругах русской передовой интеллигенции начала нашего века именно теософские и, особенно, антропософские взгляды были наиболее широко известны и распространены. В Петербурге, Москве, Харькове и других центрах страны существовали теософские и антропософские общества. Культурнейшие издательства того времени выпускали десятками книги, так или иначе связанные с оккультизмом, в частности, было издано по-русски многое из того, что вышло тогда, из-под пера основателя антропософского учения доктора Рудольфа Штейнера. Знаменитая крымская дача поэта М. Волошина в Коктебеле, где перебивали в качестве радушно принятых гостей почти все лучшие русские поэты того времени, явилась местом их встречи со многими, тоже гостившими там, антропософами (в частности с руководителями петербургского антропософского об-ва Б. А. Леманом и Е. И. Васильевой), и общение с ними, а также с хозяином дачи, убежденным антропософом, не могло пройти бесследно. Не будет поэтому ошибкой предположить, что оккультные темы были почерпнуты большинством русских поэтов начала нашего века именно из теософии и антропософии, особенно из этой последней.

* * *

Было ли оккультное мирозерцание созвучно Владиславу Ходасевичу? На среднем, художественно наиболее значительном, этапе его творчества — несомненно (я имею в виду сборники «Путем зерна» и «Тяжелая лира»). Вот стихотворение Ходасевича «Без слов», посвященное теме перевоплощения:

Ты показала мне без слов,
 Как вышел хорошо и чисто
 Тобою проведенный шов
 По краю белого батиста.
 А я подумал: жизнь моя,
 Как нить, за Божьими перстами,
 По легкой ткани бытия
 Бежит такими же стежками.
 То виден, то сокрыт стежок,
 То в жизнь, то в смерть перебегая...
 И, улыбаясь, твой платок
 Перевернул я, дорогая.

Ходасевич нашел очень наглядный образ для иллюстрации идеи перевоплощения. Человеческая жизнь бежит, как нить, стежками, сквозь ткань-бытие, то исчезая за нею (и это — смерть), то снова появляясь на ее поверхности (и это — новая жизнь). Каждым своим незримым, потусторонним (по ту сторону ткани-бытия) отрезком она связана с каждым здешним, зримым. Перед нами, если всмотреться, не обрывки нити, а всё одна и та же, непрерывно бегущая далее, нить-жизнь. Надо перевернуть ткань, взглянуть в запредельное, и тогда это станет понятно.

Вот еще одно стихотворение Ходасевича «Ласточки», тесно связанное с оккультизмом:

Имей глаза — сквозь день увидишь ночь,
 Не озаренную тем воспаленным диском.
 Две ласточки напрасно рвутся прочь,
 Перед окном шныряя с тонким писком.
 Вон ту прозрачную, но прочную плеву
 Не прободать крылом остроугольным,
 Не выпорхнуть туда, за синеву,
 Ни птичьим крылышком, ни сердцем подневольным.
 Пока вся кровь не выступит из пор,
 Пока не заплачешь земные очи —
 Не станешь духом. Жди, смотря в упор,
 Как брызжет свет, не застилая ночи.

Это стихотворение вызвало недоумение у многих знакомых с творчеством Ходасевича. Некоторых (я знаю лично тому примеры) оскорбила первая же его строка: «Имей глаза — сквозь день увидишь ночь». До каких глубин отчаяния и всеотрицания должен был прийти поэт — рассуждали они — если вместо света он видит мрак и призывает к этому других! И, воспринятое таким образом, стихотворение произвело впечатление кошунства.

Слов нет, мысль Ходасевича в «Ласточках» настолько неожиданна и необычна, что может легко ввести в заблуждение. Если бы еще поэт просто заявил: в мире царит и владычествует мрак, светлого нет ничего! — это можно было бы, если и не принять, то понять. Но ведь Ходасевич зовет сквозь свет найти этот мрак как некую более высокую ценность и истину! Как это объяснить?

«Ласточки» будут, однако, легко расшифрованы, если подойти к теме этого стихотворения так, как подошел к ней несомненно сам автор: с позиций оккультизма. Оккультист прочтет это стихотворение примерно так: свет, излучаемый небесными телами, в частности, нашим солнцем, есть лишь физическая видимость тех или иных духовных процессов и воспринимается только нашим физическим зрением. И «воспаленный диск» солнца и синева неба — всё это, в своей гамме света и красок, лишь иллюзия, майя. Свет физический в сущности только затемняет духовное зрение человека. Но за эту зримую завесу (чтобы найти, ощутить незримую) нам так же трудно проникнуть, как ласточке выпорхнуть за прозрачную, но прочную «плеву» земли. Надо «выплакать» свои земные, физические очи — только тогда свет, который брызжет в них, не застелит уже твоего духовного взора. Именно к тому, чтобы сквозь физическое и вопреки ему узреть духовное — и призывает нас Ходасевич в своем стихотворении. Понятое так (а иначе оно и не может быть понято, иначе оно превращается в бессмыслицу) стихотворение это теряет всякий элемент отрицания, а тем более кошунства. Оно свидетельствует, насколько близко было Ходасевичу оккультное миропонимание и в какие четкие художественные образы он его претворял.

Интересно сопоставить с «Ласточками» Ходасевича стихи покойного поэта К. Гершельмана, опубликованные в № 31 «Нового журнала». И в них тоже, странным и на первый взгляд неоправданным образом, говорится о некоем мраке, некоей черноте, запомнившейся автору из его «пожизненной жизни»:

И было чернее, но чище и шире
 В том странно-забытом, дожизненном мире.
 И далее, в преддверии смерти, поэт говорит теми же словами:
 Но дверь отворилась, вошли на крыльцо,
 Нам черное, чистое дышет лицо.

И здесь, как у Ходасевича, чернота, мрак — не символ небытия и отчаяния. Они ведь «чище и шире», чем свет физической жизни!

Эти строки Гершельмана становятся понятными только, если применить при толковании их те же соображения, какие я привел выше, говоря о «Ласточках» Ходасевича.

Я остановился так подробно на двух примерах из стихов Вл. Ходасевича (их можно было бы привести и больше) потому, что есть литературоведы, отрицающие наличие оккультных мотивов в его поэзии. В 1952 г. на страницах газеты «Новое Русское Слово» занял такую позицию Ю. Терапиано, основываясь на том, что в разговоре с ним Ходасевич отозвался об антропософии неодобительно*). Охотно верю, что Ходасевич высказался именно так, но это никак не противоречит моим выводам. Ведь оккультные мотивы прозвучали в стихах Ходасевича в 1918-1922 гг., то есть задолго до его беседы с Ю. Терапиано. Возможно, что впоследствии Ходасевич от оккультного миропонимания отошел (такой вывод можно сделать из «Европейской ночи» и, особенно, «Некрополя») и, естественно, не стал его защищать *post factum*. Но это совсем не означает, что подобное миропонимание никогда не было ему близко, и не зачеркивает того, что было им уже написано. В той же своей статье Ю. Терапиано сообщает, что Ходасевич был верующим католиком, но ревниво скрывал это от посторонних. Если Ходасевич был вообще скрытен в вопросах веры, то он мог столь же ревниво утаить от Ю. Терапиано и свои оккультные симпатии. В качестве еще одного аргумента Ю. Терапиано выдвигает мысль, что Ходасевич «был по натуре, в противоположность Блоку, представителем разума, а не интуиции» (а потому, мол, и сродни оккультизму быть не мог). (Конечно, по сравнению с сумбурной, сугубо эмоциональной мистикой Блока, мистика Ходасевича, всегда знающего, что он хочет сказать, — «разумна». Но как можно автора «Снов», «Автомобиля», «Ласточек», «Без слов», «Улики», «Элегии» («Деревья Кронверкского сада ...»), стихотворения «Друзья, друзья! Быть может скоро... » и многих других назвать «представителем разума, а не интуиции», — мне непонятно. В стихах этих именно всё интуитивно, что не мешает им вместе с тем быть разумными в их смысловом построении. Оккультизм отнюдь не исключает у исповедующего его разума и логичности в суждениях.

Тут будет уместно отметить, что большой поэт Ходасевич еще недостаточно понятен и оценен своими современниками. И немалую роль в этом играет, на мой взгляд, именно вот это непризнание за ним того оккультного образа мышления, который нашел свое выражение в ряде лучших его стихотворений. Творчество Ходасевича большинством не только его читателей, но и литературных критиков воспринимается упрощенно, а потому недовоспринимается. Г.Адамович говорит о сернокислотном привкусе поэзии Ходасевича. Так ли это? Даже иные горькие стихи из «Европейской ночи» исполнены прежде всего глубокой жалости к людям, ради которых Ходасевич под конец и рассорился с богами (даже ангелов отхлестал, мстя за «человека с опустошенным рукавом»). И если Ходасевич желает *Mariechen* изнасилования и смерти (стихотворение «An Mariechen»), то и это только из жалости и во имя спасения ее чистого, беспомощного перед всеми земными опасностями, человеческого «я». Стихотворение это прежде всего проникнуто верой в бессмертие этого «я», для которого лучше физически потерять одну из своих жизней на земле, чем ее духовно «проиграть» (Ходасевич и в этом стихотворении остается оккультистом). В подавляющем же большинстве стихов из сборников «Путем зерна» и «Тяжелая лира», то есть в основной сокровищнице творчества Ходасевича, даже и этой кажущейся едкости нет, наоборот — прикосновение их целительно. И «самолюбование», «самовлюбленность», в чем кое-кто обвиняет Ходасевича, отнюдь не личное его дело, а самоутверждение богоносной человеческой души вообще:

Нет, ты не прав, я не собой пленен,
 Что доброго в наемнике усталом?
 Своим чудесным, божеским началом,
 Смотри в себя, я сладко потрясен.

А если даже поверить и Ходасевичу буквально, что у него в душе «есть пробелы как бы от пролитых кислот» (стихотворение «Автомобиль»), то надо тут же задуматься над тем, что это именно за «пробелы»? Ведь до появления «другого автомобиля» мир стоял перед поэтом «простой и целый», то есть во всей своей физической элементарности и псевдогармонии. «Пролитые кислоты» познания выжгли эту псевдогармонию. Душа поэта сперва, естественно, этим потрясена, но тем самым не подымается ли она над физической простотой мира к его духовной сложности, через которую только и можно приблизиться к его пониманию? И эти «пролитые кислоты» — не целительная ли это, в конечном счете, влага, хотя и болезненно, но смывающая наконец покров с тайны бытия? И «черные крылья» автомобиля, ворвавшегося в жизнь поэта, — не провозвестники ли они (сперва еще непонятные, еще пугающие) того более истинного, чем свет, мрака, который Ходасевич умудренно постигнет в «Ласточках»?

* * *

Если Ходасевич начал зрелый период своего творчества с мотивов, созвучных оккультизму, чтобы впоследствии от них отойти, то Гумилев, наоборот, лишь с годами, постепенно, к ним приблизился. Впервые явно (хотя они подготавливались давно) зазвучали эти мотивы в двух последних книгах поэта — в «Костре» и в «Огненном столпе», постепенно вытесняя темы конквистадорские. Однако звучание этой новой темы в творчестве поэта осталось в значительной степени незамеченным. Для большинства читателей и литературных критиков Гумилев был и остался прежде всего, а то и только, «поэтом мужества и геройства», «знаменосцем героической поэзии» и т. п. Без этих эпитетов не обходится ни одно предисловие к сборникам стихов поэта, ни одна статья о нем. На щит были в свое время подняты и так на нем и остались именно все эти боевые доспехи Гумилева. Это оказалось только на руку советской литературной критике, которая после физического уничтожения Гумилева получила задание осквернить еще и его память. В тридцатых годах в СССР было издано исследование «Поэзия российского империализма», где много места было уделено «разоблачению» Гумилева. Под видом оголтелого «глашатая российского империализма» выволокли его вторично на лобное место. И это было совсем не плохо придумано, ибо, если напасть на Гумилева именно с этих позиций, — защитить его трудно. Но всё дело в том, что значение Гумилева, то, что сохранит его для русской поэзии, заключено прежде всего в его умудренных предсмертных стихах («Шестое чувство», «Память», «Олово», «Стокгольм», «Душа и тело», «Прапамять», «Природа» и др.), а не в военных конквистадорско-кондотьерских, как это обычно принято думать.

Спешу оговориться: и к так называемым «военным» стихам Гумилева нельзя подойти упрощенно и отместить их в сторону. Прежде всего они художественно ценны. А затем, и это главное, в них, несмотря на несомненную их «бытовую» порочность (едва ли участники последних мировых побоищ считали их «военными забавами» и «прекраснейшими из воен»...), есть всё же зерно какой-то высшей, сложной, конечно, правды. Стихи эти отнюдь не простые патриотические мечты о величии и славе России, это не стихи о земных только битвах и победах — они принадлежали другому, более высокому плану. В них поэт говорит о «солнце духа», которое «благостно и грозно разлилось по нашим небесам», о «древо духа», с которого «снимут люди золотые, зрелые плоды». Михаил-Архистратиг (он же св. Георгий, «воин Георгий») осеняет эти стихи не просто как некая декоративная фигура. В нем — обещание торжества небесного воинства над демоническими силами земли вообще. И, вникнув в духовную целеустремленность этих стихов, автора их ощущаешь уже не как наймита-кондотьера или патриотически экзальтированного вольноопределяющегося, а как некоего участника небесного воинства, о котором хочется сказать его же словами:

Сам Михаил-Архистратиг
Его зачислил в рать свою.

В последнее время приходится то и дело встречаться с попытками переоценки, вернее дискредитации, творчества Гумилева (высказывания Г. Адамовича в статье о Есенине в «Новом Русском Слове», статья Н. Ульянова в «Возрождении» и др.). Одни (Г. Адамович) совершенно «развенчивают» Гумилева, другие (Ульянов) признают за его стихами лишь некоторое «стихотворное очарование», лишь некую «красивость жемчуга», приятную несмотря на то, что этот последний является «порождением болезни раковины». Характерно, что и здесь, в эмиграции, противники поэзии Гумилева основывают свои суждения на отрицании его «военных» и «конквистадорских» стихов (подходя к ним, притом, сугубо упрощенно) и проходят мимо той, отмеченной мною выше, живой, бьющей из глубин просветленного сознания, духовной струи, которая появилась в стихах поэта в годы, предшествовавшие его гибели, и наметила новое в них звучание, оборванное пулей палача. Между тем именно в этой, количественно небольшой, но полноценной горсти стихов — основной смысл творчества Гумилева.

Вот из числа этих стихов стихотворение «Стокгольм», посвященное теме перевоплощения:

Зачем он мне снился, смятенный, нестройный,
Рожденный из глубины не наших времен,
Тот сон о Стокгольме, такой беспокойный,
Такой уж почти и не радостный сон?
Быть может, был праздник, не знаю наверно,
Но только всё колокол, колокол звал;
Как мощный орган, потрясенный безмерно,
Весь город молился, гудел, грохотал.
Стоял на горе я, как будто народу
О чем-то хотел проповедовать я,
И видел прозрачную тихую воду,
Окрестные рощи, леса и поля.
«О, Боже, — вскричал я в тревоге, — что если
Страна эта истинно родина мне?
Не здесь ли любил я и умер не здесь ли,
В зеленой и солнечной этой стране!»
И понял, что я заблудился навеки
В слепых переходах пространств и времен,
А где-то струятся родимые реки,
К которым мне путь навсегда запрещен.

Здесь стоит коротко коснуться вопроса об отношении Гумилева к непознаваемому. В его статье «Наследие символизма и акмеизм» есть такое высказывание по этому поводу:

«Детски-мудрое, до боли сладкое ощущение собственного незнания — вот то, что дает нам неведомое... Всегда помнить о непознаваемом, но не оскорблять своей мысли о нем более или менее вероятными догадками — вот принцип акмеизма».

Так сказал Гумилев. Но нет никаких сомнений, что впоследствии он от этого принципа отошел. Ибо такие стихи, как приведенное выше и некоторые другие, мною перечисленные, являются именно попыткой интуитивно познать непознаваемое. Того, кто воскликнул: «Не здесь ли любил я и умер не здесь ли!» — никак нельзя причислить к отказавшимся от таких попыток. Другое дело, что Гумилев прикасался к непознаваемому по-гумилевски целомудренно и серьезно, скупыми и строгими образами и словами.

* * *

Если формальная связь Ходасевича и Гумилева с оккультизмом точно неизвестна, то в отношении Максимилиана Волошина никаких сомнений на этот счет не существует — он был сознательным и последовательным антропософом. Волошин был лично знаком с Рудольфом Штейнером и даже жил одно время в мировом центре антропософского движения — Дорнахе (Швейцария), где работал над постройкой т.н. Гетеанума.

Поэтическое творчество Волошина (за исключением ранних его стихов) насыщено антропософским миропониманием, от него неотделимо и вне его в большинстве случаев вообще не может быть воспринято*). Два его венка сонетов на космические темы „Corona astralis" и „Lunaria", например, могут быть поняты и осмыслены только тем, кто уже солидно знаком с оккультными учениями. То же можно сказать и о большинстве его стихов на темы исторические. По-антропософски трактует всегда Волошин тему России-Славии, ее прошлого, настоящего и, особенно, будущего.

Здесь следует разъяснить, что, по утверждению Р. Штейнера, славянскому народному гению предопределена в будущем ведущая духовно-культурная миссия в истории человечества: на смену нынешнему периоду романо-германской духовной культуры придет (сроки называть еще рано) период культуры славянской. Слова Волошина:

России нет, она себя сожгла,
Но Славия воссветится из пепла!

— отнюдь не являются поэтому лишь брошенной на ветер «патриотической» фразой. Россия, в представлении поэта, истлеет и расцветет «царством духа». Здесь Волошин перекликается с Ходасевичем, высказавшим и в личном и в историческом плане ту же мысль: «умрешь и прорастешь», ибо «всему живущему» назначено «идти путем зерна» (то есть путем рождения из смерти). И не только с Ходасевичем перекликается Волошин, но и с Гумилевым, с тем «угрюмым и упрямым зодчим храма, восстающего во мгле», чье сердце:

будет пламенем палимо
Вплоть до дня, когда взойдут, меня,
Стены нового Иерусалима
На полях моей родной страны.

И это тоже не патриотические мечты, а предчувствие будущей духовной миссии России. О «царстве духа» говорит Волошин, о «солнце духа» и «древо духа» — Гумилев. Всё это не случайные совпадения. И если Волошин, верный своему антропософскому миросозерцанию, восклицает:

Я не сам ли выбрал час рожденья,
Век и царство, область и народ,
Чтоб пройти сквозь муки и крещенье
Совести, огня и вод!

— то и здесь тоже этот выбор часа рожденья — отнюдь не поэтическая фраза, а глубоко осмысленная кармическая необходимость. И такими же почти словами говорит об этом Гумилев:

Среди бесчисленных светил
Я вольно выбрал мир наш строгий.

Так в трех таких, казалось бы, несхожих поэтах, как Ходасевич, Гумилев и Волошин, перекликается во всей своей многогранности одна мистическая тема.

* * *

Сознательным и даже, если можно так выразиться, ученым антропософом был Андрей Белый. Перед мировой войной и частично во время ее Белый жил в Дорнахе, слушал лекции Штейнера, участвовал, как и Волошин, в постройке Гетеанума. Вернувшись в Россию, Белый в 1918-1920 гг. принял деятельное участие в работе московского антропософского общества, которое тогда еще терпелось большевиками под осторожной вывеской «Общества сравнительного изучения религий», читал там лекции и доклады. И в стихах и особенно в прозе («Записки чудака», «Котик Летаев» и др.) Андрей Белый высказал свои антропософские взгляды. Впоследствии он как будто от антропософии отошел (такое заключение можно вывести из чтения нескольких томов его воспоминаний, изданных в СССР), но с уверенностью этого утверждать нельзя. Ведь антропософа-Белого советская власть не стала бы терпеть, и ему, возможно, пришлось покривить душой. Такое предположение высказывает и Евг. Замятин в своих воспоминаниях о Белом. Да и советская критика в коротких некрологах после его смерти не поспешила на обвинения Белого в оккультном «уклоне», что было бы лишним, если бы он при жизни четко от него отмежевался. Но эти детали не так уж существенны. Важен тот несомненный и глубокий след, какой антропософия оставила в творчестве этого значительного писателя.

Из других видных русских поэтов начала нашего века оккультизм был, хотя и в разной степени, созвучен Вячеславу Иванову, Федору Сологубу, Валерии Брюсову. Сологуб в предисловии к своему «Пламенному кругу» открыто заявляет:

«Рожденный не в первый раз и завершая уже не первый круг внешних преобразений, я спокойно и просто открываю свою душу».

Отсутствие книг упомянутых выше поэтов лишает меня возможности привести примеры из их поэтического наследия, но они многочисленны. Вот, впрочем, одно запомнившееся мне стихотворение Брюсова на тему о перевоплощении (цитирую по памяти с возможными, но не влияющими на смысл, неточностями):

ВСТРЕЧА

Близ медлительного Нила,
там, где озеро Мерида,
в царстве пламенного Ра,
Ты давно меня любила,
как Озириса Изида,
друг, царица и сестра!
И клонила пирамида
тень на наши вечера.

Вспомни тайну первой встречи,
день, когда во храме
пляски увлекли нас в темный круг,
Час, когда погасли свечи
и когда, как в странной сказке,
каждый каждому был друг,
Наши речи, наши ласки,
счастье, вспыхнувшее вдруг!

Разве ты, в сияньи бала,
легкий стан склонив мне в руки,

через завесу времен,
 Не расслышала кимвала,
 не постигла гимнов звуки
 и толпы ответный стон?
 Не сказала, что разлуки —
 кончен, кончен долгий сон!

Наше счастье — прежде было,
 наша страсть — воспоминанье,
 наша жизнь — не в первый раз,
 И, за временной могилой,
 неугасшие желанья
 с прежней силой дышат в нас,
 Как близ Нила, в час свиданья,
 в роковой и краткий час!

1906, 1907

* * *

Я сознательно не останавливаюсь в этом очерке на оккультных мотивах в творчестве Ал. Блока. Дело в том, что мистика Блока, питавшаяся мистикой Влад. Соловьева, принадлежит к другой, более ранней струе (и тем самым к другому, предыдущему, веку), чем мистика перечисленных здесь поэтов, и говорить о ней нужно поэтому особо, а главное — вне связи с ними.

С оккультными учениями Блок был, судя по всему, знаком очень поверхностно, а может быть даже и незнаком вовсе (знакомство с парой-другой оккультных символов и образов — не в счет). Обладая утонченным духовным слухом, Блок различал космические шумы и звучания, но не улавливал их стройности и смысла. Он был лишь своего рода приглушенным передатчиком смутных звучаний «оттуда», своего рода элементарно восприимчивой к этим звучаниям антенной, но никак не их толкователем и комментатором. По его же собственному признанию, Блок мог лишь «слепо отдаваться стихиям цветных миров». Он не обладал оккультным разумом, он был лишь во власти оккультных эмоций. Это, правда, сообщает мистике Блока элемент самобытности, увлекающей непосредственности (начетчиком он уж, во всяком случае, не был), но вместе с тем делает ее менее значительной, а порой, ввиду отсутствия с его стороны всякого контроля над этими эмоциями, — безответственной и даже порочной. Именно потому, что во время написания «Двенадцати» Блок, по его словам, «ощущал большой шум, вероятно шум от крушения старого мира» — и только! — но не был вооружен оккультным пониманием событий, мог он написать эту порочную по концепции своей и недостойную всякого подлинного оккультиста (не только христианина) поэму. Оттого, что Блок только слушал «музыку революции», но не мог проверить ее оккультным разумом, дошел он до искаженного восприятия действительности. Одних оккультно-слуховых ощущений для решающих выводов недостаточно.

В своей оккультной беспомощности Блок признался сам: «я стою перед созданием своего искусства, и не знаю, что делать...» Таков результат «антенного» восприятия потустороннего мира, восприятия, не подкрепленного чувством подлинной духовной ответственности, куда входит и недоверие к своим эмоциям, строгая их проверка оккультным разумом. Духовное знание может показаться сухим рядом с иной околומистической болтовней (как некоторые стихи Гумилева, Волошина и Ходасевича рядом со стихами Блока), но подлинно действенным и значительным является именно оно. Сейчас, после той духовной науки, какую дал Рудольф Штейнер, одних

косноязычных духовных эмоций уже мало! Времена уже не те! 20-ый век и для оккультизма уже не 19-ый.

* * *

Исчезли ли оккультные мотивы из творчества русских поэтов? За железным занавесом — несомненно. Ведь там они столь же одиозны и нетерпимы, как всякая вообще религиозно-философская тема. При Советах все теософские и антропософские общества в России были запрещены и разгромлены, участники их подверглись преследованию, литература была тщательно изъята и уничтожена. Характерно, что то же самое произошло и в гитлеровской Германии, причем и большевики и нацисты преследовали оккультные общества с одинаковым рвением и притом еще гораздо ожесточеннее, чем христианскую церковь (в Германии оккультные общества уже были разгромлены, когда церкви еще существовали). Что касается поэзии, то обвинение (кстати и некстати) в «мистицизме» стало крылатым словом при расправах с неугодными поэтами (было брошено такое обвинение и Ахматовой, хотя именно в ее творчестве никакой мистики нет).

Другое дело в эмиграции. Здесь с оккультными темами в поэзии можно встретиться и сейчас.

Приведенных примеров достаточно, чтобы сделать вывод, что оккультные темы были русской поэзией нашего века восприняты и отражены.

* * *

Могут спросить, нужен ли такой анализ, такая «проверка на оккультизм» творчества наших лучших поэтов? Так ли это необходимо для их восприятия? Не всё ли равно, были, и в какой степени, Ходасевич и Гумилев антропософами или не были ими вовсе? Не постигаем ли мы их как поэтов, просто читая их стихи, независимо, так сказать, от их «духовного паспорта»?

Конечно, воспринять стихи можно и не вникая в их внутренний, не всегда всем понятный, смысл. Но это не явится полноценным их восприятием, хотя читающий сам этого и не заметит. Особенно это относится к стихам на оккультные темы. Надо учесть, что в таких стихах поэт уходит из мира обычных образов и понятий, а это требует совершенно особого подхода к ним и со стороны читателя. Многие стихи на оккультные темы (у М. Волошина, например.) являются просто недоступными для читателя, незнакомого с оккультным миропониманием. Последний, конечно, может их прочесть, но это будет лишь внешнее (нередко только раздражающее) скольжение по образам без проникновения в их смысл. Если не знать, например, что, согласно антропософскому миропониманию, каждый период в истории человечества и каждый его народ направляются своим архангелом, волошинские «ангелы времен» и «сторожевые херувимы» покажутся лишь поэтической бутафорией, в то время как для автора — это совершенно конкретные фигуры (Гумилев в «Шатре» тоже говорит о «приставленном» к Африке ангеле). Некоторые стихи Ходасевича, воспринятые лишь внешне, как ни к чему не обязывающее фантазерство, не только останутся непонятыми, но могут даже произвести отталкивающее впечатление, как мы это видели на примере со стихотворением «Ласточки». Значительные поэты пишут свои стихи с гораздо большим чувством ответственности, чем это принято думать, и на читателе лежит обязанность правильно эти стихи прочесть, не упрощая вложенного в них поэтом глубокого смысла. Неверно будет сделать отсюда вывод, что читателю, незнакомому с оккультными учениями, к стихам на подобные темы и прикасаться не следует. Кое-что он все же смутно воспримет, кое-что вызовет неясный отклик в душе — а это уже немало. Но, так сказать, в «убытке» (и большом!) по сравнению с подготовленным читателем он окажется. Поэзия требует вообще от читателя (гораздо больше, чем проза) некоторого минимума

общекультурных знаний. Без него многие лучшие стихи, если только они не снабжены примечаниями (следовало бы к таковым, отбросив всякий снобизм, почаще прибегать!), остаются непонятыми, а, значит, по существу, не прочитанными, и фактически это случается очень часто, гораздо чаще, чем мы думаем. Разве можно, например, без некоторого минимума литературно-исторических знаний понять заключительные строки одного из лучших стихотворений Марины Цветаевой:

И сей пожар в крови тому залог,
Что некий Карл тебя услышит, рог!

Что за Карл? Какой рог? — спросит (про себя, разумеется...) иной читатель и естественно пройдет мимо всего стихотворения. Нечто подобное происходит и со стихами на оккультные темы, только число «проходящих мимо» этих стихов — еще выше.

Если минимум общекультурных знаний необходим для чтения стихов и отсутствием его от них не отмахнешься, то вполне резонно, чтобы в этот минимум входили и некоторые элементарные сведения по оккультизму. Это, само собой разумеется, не требование, это — пожелание, и притом в интересах самих читателей. Тот, кто хочет полноценно познакомиться, скажем, с творчеством таких поэтов, как М. Волошин и Андрей Белый, и не пройти мимо некоторых лучших стихов Ходасевича и Гумилева — должен к чтению их известным образом подготовиться. Тут на помощь читателю должны были бы придти наши литературные критики и литературоведы. Не лекции по оккультизму требуются от них, хорошо было бы уже, если бы они направили внимание читателя в нужную сторону, предупредили бы его, скажем, против упрощенного подхода к тем или иным поэтам или стихам. К сожалению мы этого не видим.

В результате названные поэты, да и некоторые другие, здесь не упомянутые, одни в меньшей, другие в большей степени остаются недопонятыми, притом как раз в той части их творчества, которая нередко составляет поистине их святое святых. Литературоведы наши и критики подходят к оценке творчества этих поэтов с какой угодно точки зрения, иногда с самой неожиданной, но только не с точки зрения их оккультных верований и чаяний. Мне, по крайней мере, не приходилось встречаться с такой оценкой. Даже говоря о М. Волошине, этом стопроцентном поэте-антропософе, оккультные корни его поэзии обходят полным молчанием. Между тем говорить о русской поэзии нашего века, игнорируя то влияние, какое оказал на нее оккультизм, — значит просмотреть чрезвычайно интересную и значительную ее особенность. Можно принимать или не принимать оккультизм, считать его истиной или заблуждением, находить влияние его на того или иного автора глубоким или поверхностным, длительным или преходящим, но расслышать его звучание в творчестве некоторых лучших наших поэтов — необходимо. Иначе встреча с этим творчеством всегда окажется неполноценной.